

ГОРОД, В КОТОРОМ Я ОСТАНУСЬ



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

ЕВА БЕВИНН

18+

Ева Бевинн

Город, в котором я останусь

«Автор»

2026

Бевинн Е.

Город, в котором я останусь / Е. Бевинн — «Автор», 2026

Её жизнь — это искусственная кома и чужое имя на бейдже. Стерильные коридоры больницы и бесконечные ночные дежурства стали для неё идеальным укрытием от прошлого. Местом, где она надеялась навсегда похоронить воспоминания о гибели семьи десятилетней давности. Но одна внезапная встреча с бывшим опекуном взламывает этот сейф. Механизм запущен. Иллюзия нормальной жизни рушится, и она начинает медленно, неотвратимо соскальзывать обратно в пучину парализующего кошмара, где каждый шаг возвращает её в ночь, пахнущую кровью и порохом. Она неизбежно пошла бы ко дну. Но на самом краю бездны её удерживает столкновение с человеком, чья фамилия крепко связывает её с прошлым. Эта связь не обещает красивой сказки, но становится тяжелым гравитационным якорем, способным вытащить её из персонального ада.

© Бевинн Е., 2026

© Автор, 2026

Ева Бевинн

Город, в котором я останусь

Город, в котором я останусь. Ева Бевинн.

Часть I. Вакуум

Глава I. Анестезия.

Я иду на работу. Прихожу домой. Я иду на работу.

С некоторых пор мне казалось, что между этими отрезками нет двенадцати часов свободного времени — только один растянутый, линияльный день длиной в несколько лет. Будильник в пять тридцать — это не звук, а физический удар по нервам. Палец нащупал кнопку на экране еще до того, как мелодия успела набрать громкость. Сосед за стеной глухо застонал, а я уже сидела на краю кровати, глядя в темноту. Утро в Бостоне начиналось с сырости. В ноябре рассветы здесь не приносили света — только серую взвесь, которая просачивалась через щели жалюзи и оседала на подоконнике влажным налетом.

У этой рутины была своя цена. Она действовала как дешёвый нейролептик — приглушала шум в голове и позволяла на несколько часов забыть, что каждый рассвет — лишь новый раунд сопротивления, исход которого известен заранее.

Я намеренно перемешивала дневные и ночные дежурства, выстраивая график так, чтобы между ними оставалось ровно столько времени, сколько нужно для спасительной отключки. Можно было доводить тело до полного, звенящего истощения — единственного надежного способа проваливаться в темноту без сновидений.

За окном Бостон медленно выплывал из ночной глухоты. Ноябрьский рассвет лениво размазывал сырость по асфальту. Дождя не было, но воздух тяжелел от влаги. Туман поглощал припаркованные вдоль тротуаров машины, стирая их одну за другой. Скоро он доберется до домов, улиц и людей, оставив после себя только белую пустоту.

Я натянула тёмно-синие скрабы — они давно стали моей единственной броней, — собрала волосы в тугий хвост и посмотрела на женщину в зеркале. Лицо было бледным, безжизненным, ничего не выражающим. Идеальный фасад для очередных двенадцати часов. Выключила свет и вышла, не сказав своему отражению ни слова.

К шести сорока пяти отделение уже пульсировало знакомым, ровным гулом. Ночная смена напоминала призраков, случайно задержавшихся на этом свете. Дневная всё ещё пыталась держать фасад и натягивать механические улыбки.

— Доброе утро, — Сара не отрывала взгляда от монитора.

— Что по тяжёлым? — спросила я, сразу забирая у неё планшет с картами.

— Четыре пациента. В триста двенадцатой была нестабильная динамика, пациент после резекции. Следи за дренажем. Триста пятнадцатый снова решил устроить побег, едва не выдрав катетер. Триста восемнадцатая оборвала звонок — ей нужно, чтобы кто-то дышал рядом. И... — Сара замерла, палец завис над клавиатурой. — В триста двадцатой свежий. Декомпенсация. Привезли под утро.

Я кивнула, не сделав ни одной пометки.

Через несколько лет в больнице перестаешь слушать слова. Утреннюю передачу смены читают не по записям, а по лицу человека напротив. Улыбается — ночь пережили. Тараторит — половину забыл. Замолчал посреди предложения — жди беды.

Я открыла карту. У пациента из триста двенадцатой гемоглобин медленно, но неизбежно сползал вниз. Проверила динамику еще раз. Открыла лист назначений ординатора. Пусто. Разумеется. Иногда мне казалось, что цифры анализов существуют исключительно для медсестёр. Врачи предпочитали лечить людей, а не показатели. Пометила результат и напи-

сала короткое сообщение дежурному: «Гемоглобин в 312-й стабильно падает. Жду распоряжений». Через две минуты экран вспыхнул ответом: «Спасибо. Посмотрю».

К восьми утра коридор окончательно утратил признаки стерильности. Лязгающие металлические звуки, писк инфузоматов, густой перегар дешевого больничного кофе, антисептик и едкий, синтетический запах омета, который здесь научились готовить вовсе без участия яиц.

Я переступила порог триста пятнадцатой палаты.

— Доброе утро, мистер Харрис.

— Если в той капельнице кофе, то утро и впрямь доброе, — он приоткрыл один мутный глаз.

— Это цефтриаксон, мистер Харрис, — ровно ответила я, фиксируя манжету тонометра.
— Дайте правую руку.

Старик издал сухой, ломкий кашель, заменявший ему смех.

— Ты всегда такая серьёзная, сестренка?

— Пульс девяносто, — я сделала пометку в карте, проигнорировав вопрос. — Если почувствуете тошноту, нажмите кнопку вызова.

В коридоре меня ждал привычный шум.

— Медсестра!

Три шага.

— Простите!

Пять шагов.

Телефон в кармане отозвался короткой вибрацией — опять лаборатория. Одновременно над дверью триста восемнадцатой вспыхнул красный квадрат вызова.

В триста восемнадцатой было тихо. Пожилая женщина сидела на краю заправленной койки, сжимая в сухих, узловатых пальцах прямоугольник фотографии.

— Простите... — прошелестела она, всматриваясь в пространство мимо меня. — Вы не знаете, когда приедет моя дочь?

Я знала ее карту. Дочь жила в трех часах езды, но последний раз ее машина останавливалась у больничного корпуса два месяца назад.

— Она обещала приехать.

— Наверное, пробки, — тише добавила она.

— Наверняка.

Иногда всё, что ты можешь сделать, — не отнимать у человека последнюю ложь, на которой он ещё стоит.

Я обернулась. По коридору летел Терри, неся перед собой неизменную банку энергетика, как ритуальный предмет.

— Спасибо, что забила тревогу из-за гемоглобина. Там началось внутреннее кровотечение, я едва успел отправить её на КТ.

— Не за что.

— Если бы ты не пнула меня проверить её динамику, мы бы её упустили, — Терри выдохнул, опираясь о стойку.

— Назначьте ей контрольный анализ на десять утра, Терри. И внесите в электронную базу, иначе лаборатория нас проигнорирует, — я не отрывала взгляда от монитора. Он осекся. Ждал подколки или ответной улыбки, но не получил ничего, кроме сухого алгоритма.

— Да, конечно. Сейчас внесу.

К полудню внутри, в самом центре желудка, начал сворачиваться знакомый вязкий ком раздражения. На сестринском посту стоял стакан. Кофе в нем покрылся тонкой, маслянистой пленкой — такой же холодной и бессмысленной, как мои попытки имитировать нормальную жизнь. Я протянула руку.

— Вэнс! Экстренный!

Я опустила пальцы. Кажется, у этого кофе на меня свои планы.

Каталку вкатили без предупредительного звонка. Двадцать секунд — слишком мало, чтобы успеть надеть правильное выражение лица.

— Мужчина, шестьдесят восемь. Одышка, декомпенсация, давление падает.

Дальше всё распадается на чистую механику и физиологию. Монитор. Кислородная маска. Манжета. Катетер в вену. Забор крови. Автоматизм — спасение для тех, кто не хочет присутствовать в собственном теле. Руки делают работу сами, пока сознание прячется где-то глубоко в тени, за пределами этой палаты. Если остановиться хотя бы на секунду — всё, что я оставляю по ту сторону, ворвётся внутрь.

— Медсестра...

Я опустила взгляд. Мужчина на каталке цеплялся за мое запястье влажными, липкими пальцами. В его глазах застыл тот самый первобытный, вязкий страх, который невозможно спутать ни с чем.

— Я умру?

Этот вопрос всегда звучит одинаково. Они думают, что у человека в форме есть секретный ключ от его личного финала.

— Не сегодня, — ответила я.

Он обмяк на подушке, закрыв глаза. Два слова. Иногда и такой лжи достаточно, чтобы человек отпустил край пропасти хотя бы на несколько минут.

Обед существовал исключительно в виде графы в электронном графике. Я открыла свой ланч-бокс в ординаторской и уставилась на заветренные листья салата, пытаюсь вспомнить, когда в последний раз чувствовала вкус еды. Успела поднести вилку ко рту, когда пейджер на поясе отозвался сухим, мерзким писком. Я просто закрыла крышку. Желудок не протестовал — он, как и всё остальное тело, давно привык к режиму энергосбережения.

Ближе к вечеру мистер Харрис из триста пятнадцатой окликнул меня, когда я проходила мимо.

— Эй, сестренка.

— Вас что-то беспокоит?

— Ты ведь не местная, да?

— С чего вы взяли?

— Местные улыбаются зубами. А у тебя глаза такие, точно ты всё время ищешь аварийный выход.

Поправила складку на его простыне, чтобы не смотреть на него. Интересный диагноз. Я и сама не знала, откуда я теперь. Из Сан-Франциско? Из Портленда? Или Сиэтла? Из того месива, в которое превратилась моя память? Или из бесконечного коридора между городами, где каждый новый адрес — лишь временная стоянка перед очередным побегом?

— Возможно, — тихо проговорила я.

— Дом скучает по тебе, девочка, — вздохнул он, укрываясь до подбородка.

Я на секунду замерла у стойки капельницы. Внутри ничего не дрогнуло — там давно нечему было отзываться на подобные сентиментальности.

— Вам нужно отдыхать, мистер Харрис, — мой голос стал абсолютно плоским. — Я зайду проверить катетер через два часа.

В семь вечера отделение стало тише. Пришла ночная смена. Мы стояли у поста, и я передавала сухие цифры и фамилии — ровно так же, как двенадцать часов назад их передавали мне. Круг замкнулся. За эту половину суток мир не изменился, хотя для нескольких человек в этих палатах рухнули все несущие конструкции. Кто-то получил лишний шанс. Кто-то сдал последние позиции. Кто-то впервые сделал шаг по мокрому линолеуму, а кто-то смирился с темнотой.

Я вышла на улицу.

Ледяной ноябрьский воздух мгновенно разрезал легкие. Бостон жил своей привычной, равнодушной жизнью: шумели моторы, кто-то перебивал друг друга у входа в метро, глухо завывал ветер в подворотне. Я подняла руки к лицу и понюхала пальцы. Они пахли вьевшимся спиртом, дешёвым латексом и чужим, разлагающимся временем. Удивительно, как легко чужая жизнь въедается в кожу. И как трудно удержать на ней следы собственной.

Глава 2. Дом. Милый дом.

Запах разогретого солнцем паркета, новых книг и чуть кислый, сливочный оттенок калифорнийского шардоне. Если бы меня попросили собрать моё детство в один стеклянный флакон, оно пахло бы именно так.

Никакого страха. Никаких поддельных имен. Лишь дом на одном из зеленых холмов Сан-Франциско — высокая коробка из светлого дерева и стекла, где тишина никогда не была случайной. Здесь даже молчание было дисциплиной.

Отец любил повторять за ужином вещи, смысл которых доходил до меня лишь спустя десятилетие — когда исправлять было уже нечего.

— Мы не можем спасти людей от их собственных пороков, Дамона, — он аккуратно разрезал стейк, и лезвие ножа с тихим, размеренным фарфоровым хрустом касалось тарелки. — Мы можем управлять их активами, можем защитить их капиталы от инфляции. Но спасти их от самих себя не способен ни один банк в мире.

Я смотрела, как в его бокале отражается люстра. Тогда мне казалось, что отец спорит с телевизором, а не с миром. Вечерние выпуски новостей об очередных витках холодной войны и биржевых лихорадках заливали гостиную тревожным синеватым светом. Отец всегда слушал дикторов молча, чуть сжав челюсти, как если бы каждый политический кризис или обвал индексов Уолл-стрит был его личной, тщательно скрываемой отставкой.

А потом, в самом конце восьмидесятых, когда Берлинская стена рухнула и многолетняя эпоха паранойи пошла на спад, я впервые увидела его другим. Не счастливым — счастье в нашем доме считалось чем-то вроде слабости. Но довольным. Выдержанным, как его любимый бурбон.

Единственной зоной в доме, где негласные правила приобретали жесткость армейского устава, было место в спальне родителей. В углу, за стеклом тяжелого дубового шкафа, тускло поблескивала вороненая сталь охотничьего ружья. Отец состоял в старом, элитном стрелковом клубе где-то в заболоченных низинах залива Суисун — традиционная, почти ритуальная забава богатых джентльменов Сан-Франциско. От шкафа всегда едва уловимо веяло оружейным маслом и мертвой, холодной тяжестью.

Мне было строго-настрого, под страхом самого сурового наказания, запрещено буквально приближаться к этому стеклу. Ружье было единственной вещью в нашем светлом, безопасном доме, которая существовала ради смерти, и отец делал всё, чтобы я держалась от этой правды как можно дальше.

Тогда, в детстве, мир не казался мне выжженной пустыней. Я ещё умела вскакивать по утрам от того, что апрельский ветер врывается в распашное окно, принося с улицы пьянящий запах молотого кофе, мокрого асфальта и свежескошенных газонов Пасифик-Хайтс. Казалось, где-то внутри меня звучала музыка, которую никто больше не слышал.

Иногда теперь, просыпаясь в чужих прокуренных квартирах, я думаю: а существовала ли эта девочка на самом деле? Или я просто вычитала её в одной из маминых книг и присвоила себе чужую чистую жизнь?

Потому что в том детстве моим Богом была мать.

Миссис Лора Дрейн имела привычку двигаться так, словно боялась нарушить геометрию пространства. Каждое утро, ровно в семь сорок пять, звучно хлопала дверца темно-синего Вольво, и мама уезжала в среднюю школу, где учила шестнадцатилетних подростков видеть.

Она не читала им лекций по Фолкнеру или Стейнбеку; она заставляла их замирать над страницей и отыскивать в чужих трагедиях собственные, ещё не пролитые слёзы.

Я помню её по мелочам. По стуку деревянной доски о столешницу и шелесту вощёной бумаги, когда она заворачивала мне домашний сэндвич. По ровному, почти гипнотическому ритму ее дыхания, когда по вечерам она уезжала в Беркли на открытые лекции по философии или уединялась в гостиной с ковриком для йоги, ища там тот единственный час тишины, без которого, как она говорила, невозможно научить спокойствию никого другого.

Но лучше всего я помню субботы.

Суббота была ритуалом. Наш дом наполнялся шуршанием шелка, звоном хрусталя и сдержанными голосами. Врачи, банкиры, профессора из Беркли, юристы. Мужчины в темносиних пиджаках и женщины с жемчужинами в ушах. Они собирались за длинным дубовым столом, обсуждали выборы, балет и экономику Напы, и среди них моя мать была центром этой безупречной системы координат.

В один из таких вечеров, когда мне было восемь, я задела локтем тяжёлую фарфоровую вазу на консоли в холле. Треск разбитой керамики прозвучал для меня как оглушительный взрыв. Я замерла, сжавшись в комок, ожидая катастрофы.

Отец вышел из кабинета первым. Он не поморщился. Не повысил голос. Он просто опустился на одно колено и стал собирать белые острые осколки прямо в ладонь.

— Не переживай, Дамона, — тихо сказал он, не глядя на меня. — Это всего лишь ваза.

Я выдохнула, готовясь удрать к себе.

— Но запомни одну вещь, — его пальцы сомкнулись на крупном осколке. — Любая ошибка имеет цену. Вопрос лишь в том, кто в итоге её заплатит. Сегодня за твою ошибку заплачу я, потому что куплю новую. Когда станешь взрослой, всё чаще платить придётся тебе самой.

Он ушёл на кухню, а я ещё долго смотрела на пустое место, где только что стояла ваза. Казалось, вместе с ней разбилось что-то ещё, чему я тогда не знала названия.

Фитцрой приехали около семи.

Джулиан Фитцрой — партнер отца и совладелец их инвестиционного банка — вошел в дом с привычной, почти пугающей хозяйской неторопливостью. В нем не было суеты. Только тяжелая, давящая уверенность человека, который привык поглощать всё, к чему прикасается: будь то рыночные активы, теневые капиталы или чужие жизни. Он громко, с безупречной светской теплотой нахваливал мамин пирог с пеканом, но его колючий, цепкий взгляд скользил по нашей прихожей так, как если бы он уже проводил её негласный аудит. За ним, как идеально выверенное дополнение к его статусу, вошла его жена, а чуть позади — их сын. Тристану было шестнадцать. Для меня, восьмилетней, он был недостижимым, казался мне пугающе взрослым — слишком высокий, слишком прямой, с острыми скулами и тёмными волосами. Он носил свою привлекательность с той холодной небрежностью, которую жизнь обычно выбивает из богатых мальчиков только годам к тридцати.

За обедом его посадили напротив меня.

Джулиан отрезал кусок телятины, даже не взглянув на сына.

— Тристан подает документы в Гарвард. Никакой литературы или философии, разумеется. Только финансы. В нашем мире нужно уметь считать свои деньги, пока их не посчитал кто-то другой. Верно, Тристан?

Тристан сидел безупречно прямо и почти не трогал еду.

— Да, сэр, — ответил он ровным, ничего не выражающим голосом.

Он вежливо отвечал на вопросы взрослых, однако его взгляд постоянно ускользал. В какой-то момент, когда отец рассказывал историю о новой филиальной сети банка, я замешкалась и выронила вилку. Она с тихим звоном упала на паркет.

Я наклонилась, чтобы поднять её, и случайно встретила с Тристаном взглядом.

Он не нахмурился. Напротив — его щеки мгновенно залил неожиданно густой румянец, и он резко отвёл глаза. Но не на меня. И не на отца. Он посмотрел чуть левее моего плеча — в пустое пространство между моим стулом и высоким книжным шкафом, *туда, где никого не было и быть не могло*. На секунду его губы чуть тронула смущенная, полудетская улыбка, адресованная этой пустой тени, а затем он сильно сжал пальцами край крахмальной салфетки и снова спрятался за непроницаемой маской.

Никто за столом этого не заметил. Взрослые спорили о процентных ставках.

— Тристан, дорогой, — мама мягко коснулась его рукава, когда подали десерт. — Вы не хотите выйти в сад? Там сегодня потрясающий вечер.

Он едва заметно вздрогнул, резко возвращаясь к происходящему, и кивнул.

— Конечно, миссис Дрейн.

Мы вышли на задний двор. Прохладный океанский туман уже сползал с холмов, обволакивая кроны лимонных деревьев и мои любимые качели. Тристан шёл на полшага впереди, сунув руки в карманы брюк. От него исходил аромат дорогой туалетной воды, а в его молчании чувствовалась едва уловимая сухая тоска.

Я запрыгнула на качели и задрала подбородок:

— Раскачай меня! Сильно!

Тристан вздохнул. Для него я была неотвратимой домашней повинностью — двадцать минут, которые нужно выстоять, пока взрослые допьют кофе. Он подошел сзади и лениво толкнул деревянное сиденье носком своего белого кроссовка.

— Не так высоко, Дамона, — сказано это было ровно, без эмоций.

Качели взлетали вверх, рассекая влажный воздух. Я смеялась, крутя головой, а когда сиденье пошло назад, повернулась к нему.

— Тристан, а ты поедешь в Гарвард? Папа говорит, ты будешь банкиром... самым главным!

Он стоял у скамейки и смотрел вовсе не на меня. Его взгляд снова застыл на пустом деревянном настиле веранды, в нескольких шагах от качелей. Тристан чуть заметно нахмурился, быстро, растерянно моргнул и снова покраснел — густо, до самых кончиков ушей, точно услышал чье-то тихое, невидимое замечание.

— Поеду, — ответил он негромко, обращаясь скорее к воздуху рядом с собой, чем ко мне. — Все куда-то едут.

— А со мной сыграешь в шашки? В гостиной на столике!

Он наконец перевёл взгляд на меня. В его зелёных, с серым оттенком глазах мелькнула странная, почти болезненная растерянность.

— В шашки? — он коротко, сухо усмехнулся. — Ладно. Только быстро.

Мы сели за маленький столик в углу веранды. Я делала глупые, хаотичные ходы восьмилетнего ребенка, продвигая черные кругляши вперед. Тристан ходил медленно, явно затягивая время. Он позволил мне срубить две его дамки, хотя мог закончить партию в три хода.

Когда моя рука потянулась к последней шашке, я случайно задела его пальцы.

Тристан мгновенно отдернул руку, будто обжегся, и откинулся на спинку стула. Его взгляд снова метнулся в сторону — туда, где у двери на террасу никого не было. Он замер на секунду, слушающий и неподвижный, а потом тихо, почти губами проговорил:

— Перестань.

— Что? — переспросила я, замирая с шашкой в кулаке. — Я ничего не сделала!

Из приоткрытой стеклянной двери тут же донесся голос мамы, которая убирала посуду в столовой:

— Девочки, пожалуйста, не шумите так, вы мешаете отцу!

Я недоуменно нахмурилась. «Девочки»? Я посмотрела на пустой деревянный настил террасы. Наверное, мама устала и оговорилась по привычке, перепутав меня со своими школьными ученицами. Я пожала плечами и снова перевела взгляд на Тристана.

— Ничего, — быстро восстанавливая спокойствие, выговорил он. Его голос снова стал плоским и взрослым. — Твой ход, Дамона. Ты выигрываешь.

В восемь лет чужую боль легко принять за загадочность, а ледяное отчуждение — за мужскую харизму. Для меня тот вечер был всего лишь маленьким приключением, где взрослый красивый мальчик разрешил мне победить.

После этого Фитцройи приезжали к нам ещё не раз. Субботние вечера почти не отличались друг от друга: мама по-прежнему подавала свой пирог с пеканом, взрослые говорили о банках, выборах и фондовом рынке, а отец иногда просил Тристана занять меня. Он с привычной обречённостью соглашался. Лениво раскачивал качели, позволял мне выигрывать в шашки, терпеливо отвечал на бесконечные детские вопросы. Отвечая, он иногда на мгновение переводил взгляд чуть в сторону, проверяя чью-то безмолвную реакцию, а потом снова смотрел на меня, возвращаясь к привычной невозмутимости.

Но когда я вспоминаю то время теперь, почему-то первым передо мной возникает именно тот вечер: яркий сад, мои качели и Тристан, который время от времени смотрел куда-то мимо меня, словно рядом с нами был кто-то невидимый.

Глава 3. Анатомия чужого удущья.

Больница святого Луки не пахла болезнью — она пахла подгоревшим кофейным зерном, дешевой хлоркой и кислым запахом застарелой усталости, который не могла вытянуть ни одна вентиляция.

Я сидела за стойкой центрального поста, медленно прокручивая на экране старого монитора списки поступивших в терапию за дневную смену. Восемнадцать человек.

Полночь давно прошла. Ночная смена тянулась с той особенной, вязкой медлительностью, когда время перестает делиться на минуты и превращается в монотонный гул вентиляторов.

— Вэнс, ты сверяла назначения для триста четвертой? — Старшая медсестра Бреннан прошла мимо, едва не задев меня тяжелой полкой халата. От Бреннан всегда тянуло мятными леденцами и хвойным мылом.

— Сверяла, — не поворачивая головы, ответила я. — Капельница с лидокаином окончена двадцать минут назад. Давление в норме.

— Хорошо. Не забудь занести карты в архиватор.

Я не ответила. Мне не нужно было напоминать. Я знала алгоритмы отделения так же точно, как строение вен на сгибе собственного локтя. Работа в больнице не требовала от меня мыслей — она требовала лишь точной механики пальцев, умения бесшумно ходить по линолеуму и вовремя менять пустышки-флаконы. Это была идеальная среда. Ничем не отличавшаяся от такой же больницы в Филадельфии, Фениксе или Огае.

Из глубины коридора донесся сухой, кашляющий звук автоматических дверей. В отделение вошел Крейг Томпсон.

Он был младшим ординатором второго года — из тех, чья форма всегда выглядит чересчур белой, а шаги — слишком торопливыми. Крейг еще не научился ходить по больничным коридорам вполноги, экономя ресурс. Он все еще бегал.

— Доброй ночи, Кэтрин, — сказал он, останавливаясь у стойки и бросая на лакированную поверхность пластиковую папку.

— Доброй, — ответила я.

Крейг выглядел уставшим, но в его усталости была та особая, светлая энергия человека, чья жизнь за пределами этих стен сложена правильно и без зазоров. Он достал из кармана халата телефон. Экран вспыхнул, высветив цветную заставку: светловолосая девушка в желтом

дождевике смеялась, прикрывая лицо от брызг на фоне какого-то пирса. Крейг коротко улыбнулся собственным мыслям и вслепую, по памяти, набрал на кнопках короткое сообщение.

Я смотрела на его пальцы. У него были длинные, аккуратные фаланги с безупречно остриженными ногтями — пальцы человека, который никогда не ломал кости и не стирал кожу о мокрый асфальт.

— Анна еще не спит? — спросила я. Голос у меня был ровным, без любопытства, лишь как часть фона.

Крейг поднял глаза, слегка удивившись, но тут же мягко улыбнулся. Ему нравилось говорить об Анне. Люди вообще любили говорить о своем счастье, если им давали хотя бы малейший повод.

— Спит, наверное. У неё завтра с утра защита проекта в архитектурной студии. Но она всегда оставляет мне глупые записки в термосе с кофе. Представляешь, сегодня написала, что, если я снова забуду съесть сэндвич, она поменяет замки.

Он тихо засмеялся. Это был здоровый, естественный смех человека, который твердо знает: его ждут. Замки никто не поменяет. В его мире двери открывались теми ключами, которые лежали в кармане.

— Какая она милая, — я не вкладывала в эти слова ни фальши, ни сочувствия. Это была простая констатация факта, как «хорошая погода» или «нормальный пульс».

— Да, — Крейг чуть смутился, как смущаются молодые люди, когда чужие прикасаются к их частному теплу. — Мы с первого курса вместе. В следующем году планируем пожениться. После моей аккредитации.

Он оперся локтями о стойку, глядя на меня. В его глазах читалась та чистая, немного наивная симпатия, которую молодые врачи часто питают к опытно-холодным медсестрам. Для него я была идеалом профессионализма: никогда не паникую, не задаю лишних вопросов, делаю инъекции так, что больные даже не морщатся.

— Тебе нужно поесть, Крейг, — сказала я, переводя взгляд обратно на монитор. — У тебя бледный вид. Если упадешь на обходе в триста шестой, Бреннан тебя съест.

— Да я в порядке...

— В ординаторской оставался пирог. Из доставки. Сырный.

Крейг помедлил, потом благодарно кивнул: — Спасибо. Ты не пойдешь?

— Позже.

Он ушел вдоль по коридору, его белые кроссовки мягко поскрипывали по свежевыванному полу. Я осталась одна. Мне было скучно.

Я смотрела на Крейга Томпсона. На его идеальную, чистую, выглаженную жизнь. У него была Анна, защита проекта, сэндвичи в ланч-боксе, понятное будущее на пять лет вперед. Он был цельным. В его жизни всё удивительно сходилось друг с другом.

Мне захотелось прикоснуться к этой цельности. Не для того, чтобы забрать её себе — чужое тепло не согревало меня, я давно это поняла. Мне просто было интересно, из чего сделана конструкция. Насколько легко она поддается, если чуть-чуть изменить угол давления.

Через три дня мы снова совпали на суточном дежурстве в реанимационном блоке.

Было четыре часа утра — то самое мертвое время, когда больничный воздух становится особенно тяжелым. В третьем боксе умирал старик с тяжелой сердечной недостаточностью. Это не была острая драма: монитор сбавлял ритм, ровно, безнадежно, с интервалами, которые становились всё длиннее.

Крейг стоял у кровати, сжимая в руках кардиограмму. Его пальцы слегка подрагивали. Для него это была, кажется, лишь пятая или шестая констатация в одиночку, без руководства старшего врача.

Длинный, затяжной писк монитора объявил об асистолии. Прямая зеленая линия. Крейг дернулся, рефлекторно складывая ладони в замок, чтобы начать компрессию грудной клетки, и выкрикнул:

— Готовь эпинефрин!

Я не сдвинулась с места. Просто положила ладонь на его напряженное предплечье. Без давления. Просто обозначив физическую границу.

— Желтый браслет на запястье, Крейг. У него подписан отказ от реанимации (DNR). Ты нарушишь закон.

— Но мы могли бы завести его... — выдохнул он, всё ещё нависая над телом.

— И переломать ему ребра ради пары часов агонии на ИВЛ? — ровно спросила я. — Отпусти его. Заполни время смерти.

Крейг взглянул на меня с какой-то новой, еще не осознанной им самой благодарностью. В этот момент я не казалась ему просто коллегой. Я казалась островком совершенно незыблемого спокойствия в мире, где все рушилось и умирало.

— Ты всегда такая? — тихо спросил он, пока мы стояли у раковины в коридоре.

— Какая?

— Непроницаемая. Точно тебя ничего не задевает.

Я вытерла руки бумажным полотенцем, выбросила его в корзину.

— Когда видишь слишком много разрывов, перестаешь удивляться виду крови. Твоя Анна... она рисует дома?

Крейг мигнул, не сразу переключившись.

— Что? А... да. Чертежи, фасады, интерьеры...

— Красивые, безопасные пространства, — я смяла бумагу и бросила в корзину. — Забавно. Мы каждый день видим, как люди, построившие эти идеальные безопасные дома, умирают в них от внезапного тромба или аневризмы прямо на дорогом паркете. Передай ей как-нибудь, что удачная планировка не спасает от биологии.

Я пошла прочь по коридору, оставив его переваривать эту мысль.

Крейг остался стоять у раковины. Я спиной ощущала, что он смотрит мне вслед чуть дольше, чем следовало. Я не искушала его. Не носила расстегнутых халатов, не касалась «случайно» его руки в ординаторской, не смотрела подведенными глазами. Все эти дешевые уловки казались мне скучными и пошлыми.

Я действовала иначе — через пространство. Создавала вокруг себя тишину, в которой Крейг Томпсон неожиданно для самого себя начал слышать собственные сомнения. С Анной ему становилось шумно.

А я понимала. Точнее, мне было всё равно, но именно это моё полное «всё равно» Крейг принимал за высшую форму понимания.

Через две недели мы снова сидели на дежурстве. Около трех ночи в ординаторскую зашел Крейг. На нем не было халата — только хирургический костюм. Он выглядел взвинченным.

— Мы поссорились, — сказал он, садясь на диван напротив меня.

Я листала какой-то медицинский журнал, не поднимая глаз.

— С Анной? — спросила я ровно.

— Да. Она опять плакала. Мы ссоримся из-за каждой мелочи последние полгода. Она хочет, чтобы я взял отпуск в декабре. Поехать к её родителям в Вермонт. А я не могу, Кэтрин. У меня графики, у меня аттестация... Анна постоянно требует внимания, которого у меня обыкновенно нет. Каждый вечер я возвращаюсь домой, как на минное поле, ожидая очередного упрека в том, что больница для меня важнее. Тебе знакомо это чувство, когда от тебя всё время чего-то ждут? Вчера она сказала, что я изменился. Что стал холодным. Что мы больше не понимаем друг друга.

Я медленно закрыла журнал. Положила его на журнальный столик.

— Ты не стал холодным, Крейг. Ты просто взрослеешь.

— Она этого не понимает. Думает, если я не отвечаю на сообщения по пять часов, значит, я ее больше не люблю.

— Потому что она не знает, каково это — констатировать смерть в три часа ночи, Крейг. Ей кажется, что твоя усталость — это отсутствие чувств к ней, — тихо сказала я. Поднялась, подошла к кофейному аппарату, налила себе черного кофе без сахара. Повернулась к нему.

Крейг посмотрел на меня. В его глазах стояла та отчаянная, болезненная преданность человека, которому наконец разрешили быть таким, каким он давно хотел быть.

— Ты думаешь, мне стоит с ней расстаться? — спросил он хрипло.

Я сделала глоток. Горячий кофе обжег язык, но я даже не поморщилась.

— Я думаю, тебе нужно выспаться. А твоя жизнь за пределами этой больницы меня не касается.

Это была чистая правда. Мне действительно не было дела. Если бы он прямо сейчас встал, побежал к Анне, упал перед ней на колени и просил прощения — я не ощутила бы вовсе ничего. Но Крейг услышал в этом совсем другое. Он услышал в этом силу. Он услышал, что я не претендую на него, не давлю, не требую. И именно поэтому я могла бы владеть им полностью.

После той ночи его присутствие стало липким.

Крейг больше не бегал по коридорам. Он искал меня. Неловко, постоянно, проверяя, что я всё ещё здесь, и возвращаясь к этому снова и снова. В течение недели я ловила на себе его взгляд — сквозь матовое стекло процедурного кабинета, из глубины тусклого коридора терапии, над плечом тяжелого больного на перевязке. Когда я заходила в ординаторскую, он умолкал на полуслове, бросая разговор с другими врачами, и замирал, выжидая.

Во вторник, в четыре часа дня, когда моя смена уже подходила к концу, я наливала воду у кулера в холле. Крейг подошел бесшумно. На нем не было халата — он уже сдал дежурство два часа назад, но почему-то всё еще не ушел домой. В руках он сжимал два бумажных стаканчика из кофейни через дорогу.

— Я взял тебе американо. Без сахара, как ты пила тогда, — сказал он, протягивая стакан. Голос прозвучал чуть заискивающе, с затаенной оглядкой по сторонам — словно уже совершал нечто запретное.

Я посмотрела на него. В его глазах не было уверенности — только жадная, болезненная потребность получить от меня хотя бы кивок, хотя бы подтверждение того, что наш прошлый разговор не был иллюзией. Анна наверняка ждала его дома с горячим ужином, а он стоял на больничном сквозняке и суетливо переминался с ноги на ногу, отдавая мне остатки своего самоуважения.

— Спасибо, Крейг, — сказала я, принимая стакан.

Я не улыбнулась. Погладила пальцем шершавый картон. Этого крошечного жеста ему хватило: уголки его губ дёрнулись в облегченной, почти детской улыбке. Он был готов — сам прочертил эту линию, за которую оставалось только перешагнуть.

Это произошло на следующем суточном дежурстве. В архивном помещении цокольного этажа, куда почти никто не спускался по ночам. Там пахло старой бумагой, сухим картоном и застоявшейся пылью.

Он пошел за мной туда под предлогом поисков старой карты пациента. Когда тяжелая металлическая дверь архива захлопнулась, Крейг прижал меня к стеллажу. В нём не было страсти хищника — только сбивчивая, отчаянная потребность разрушить свою правильную жизнь. Я не сопротивлялась. Во мне проснулся сухой, ледяной интерес экспериментатора: сможет ли этот чужой адреналин запустить хоть что-то в моей мертвой нервной системе?

Я перехватила инициативу не для того, чтобы доминировать, а чтобы ускорить процесс. Толкнула его к противоположному стеллажу. Опустившись на колени на холодный линолеум, я действовала механически. Как хирург. Мои движения были безупречно точными, выверен-

ными. Я слушала его прерывистое дыхание, чувствовала дрожь его мышц под пальцами. Пульс сто двадцать. Расширенные зрачки. Выброс дофамина. Чистая физиология. И когда его тело содрогнулось в финальном спазме, меня накрыло ледяное осознание. Эксперимент провалился. Я смотрела на его расфокусированный, благодарный взгляд и не чувствовала ровным счетом ничего. Ни триумфа, ни власти, ни даже отвращения. Только мертвую, звенящую скуку.

Я встала с колен. Медленно поправила одежду.

Крейг пытался поймать мой взгляд, на его лице застыла глупая, виновато-счастливая улыбка человека, думающего, что между нами только что произошло что-то судьбоносное.

— Кэтрин... — прошептал он, потянувшись к моей руке.

Я шагнула назад, избегая прикосновения. Мне было тошно. Не от него — от самой себя и от бессмысленности происходящего.

— Застегнись, — сказала я ровным голосом. — И иди наверх. Скоро обход.

Развязка наступила через неделю.

Обычная серая среда. Я заканчивала смену. В холле у центрального входа было почти пусто. Из приоткрытых дверей приемного покоя тянуло холодным сквозняком.

Застегнув пальто, перекинула сумку через плечо и уже собиралась выйти, когда заметила Крейга.

Он стоял у стеклянных дверей один.

На полу рядом лежала спортивная сумка. В руке он сжимал связку ключей так крепко, что побелели костяшки пальцев. Он не замечал ни проходивших мимо санитаров, ни пациентов, ожидавших такси. Смотрел куда-то сквозь стекло. За несколько минут он постарел на несколько лет.

Когда двери приемного покоя открылись, внутрь ворвался ноябрьский ветер. На улице мелькнул знакомый желтый дождевик. Крейг рассказал ей всё прямо здесь, в вестибюле, когда она заехала за ним после смены. Анна быстро пересекла парковку, не обернувшись ни разу, и скрылась за поворотом.

Крейг не сделал ни единого шага вслед.

Только тогда он заметил меня.

В его взгляде смешалось всё сразу: бессонные ночи, стыд, растерянность и какая-то почти торжественная обречённость человека, который собственными руками разрушил свою прежнюю жизнь и теперь не знает, что делать с её обломками.

Он медленно подошёл.

— Я рассказал ей. Забрал вещи, — выдохнул он, сжимая ручку сумки.

В его глазах стояло ожидание, что я сейчас разделю с ним тяжесть этого решения. Я медленно застегнула пуговицу пальто.

— И зачем ты мне это рассказываешь?

Крейг побледнел.

— Как — зачем? Кэтрин... после того, что было в архиве... Я думал...

— Ты думал, что десять минут на линолеуме между картами умерших пациентов — это повод для переезда? — мой голос прозвучал так обыденно, словно мы обсуждали график дежурств.

— Крейг, мы просто сняли напряжение после тяжелой смены. Никакого «нас» не было и нет. Я посмотрела на его сумку, затем на его остановившийся взгляд.

— Возьми отгул. У тебя руки дрожат, еще не в ту вену катетер поставишь.

Я развернулась и вышла под дождь, даже не обернувшись на звук глухого удара — кажется, он выронил сумку на пол...

Я вышла на крыльцо, достала сигарету и щелкнула зажигалкой.

Только что я своими руками, без единого громкого слова или насилия, разбила жизнь двоих людей. Изменила их траекторию. Но внутри не было триумфа. Не было злорадства. Не было никакой боли. Только тот же безграничный вакуум.

Глубоко затянувшись, я смотрела, как дым растворяется в сыром воздухе. Я ждала боли. Или вины. Или хотя бы удовлетворения. Но внутри было только то место, где когда-то, наверное, должны были находиться чувства.

Мне снов

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.